Эрик-Эммануэль

ШМИТТ

Мсье Ибрагим и цветы Корана



Мсье Ибрагим и цветы Корана
Эрик-Эмманюэль Шмитт

Аннотация
Эрик-Эмманюэль Шмитт. Мсье Ибрагим и цветы Корана

Аннотация

Удивительно нежная и философски глубокая книга Э.-Э. Шмитта, входящая в его «Цикл Незримого», замаскирована под внешне незамысловатый рассказ о брошенном отцом мальчишке, страдающем от одиночества. Он живет в Париже на Голубой улице, которая давно не голубая, покупает на ужин консервы у местного Араба, который вовсе не араб. Что же здесь настоящее? Взросление, дружба, столкновение с миром иной религии, неповторимая мелодия жизни.

Эрик-Эммануэль Шмитт
Мсье Ибрагим и цветы Корана

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, я взломал своего поросенка и отправился навестить потаскушек.

Поросенок — это свинья-копилка из глазурованного фарфора с маленькой щелью, куда можно опускать монеты, но вынуть их уже не получится. Мой отец выбрал эту одностороннюю копилку, так как она соответствовала его представлениям о жизни: деньги существуют для того, чтобы их копить, а не тратить.

В утробе поросенка было двести франков. Четыре месяца работы.

Однажды утром, когда я собирался в школу, отец сказал мне:

— Моисей, я не понял… Здесь недостает денег… Начиная с этого дня будешь записывать в кухонной книге все, что ты потратил на покупки.

То есть мало того, что на меня наезжают и в школе и дома, я учусь, готовлю еду, приношу продукты; мало того, что я живу один в огромной темной квартире, холодной и пустой, что я скорее раб, чем сын адвоката, лишенного дел и жены, так теперь нужно было еще и счесть меня вором! Что ж, раз меня заподозрили в воровстве, почему бы и в самом деле не попробовать.

Значит, в утробе поросенка было двести фран-

ков. Двести франков — столько стоила девица с Райской улицы. То была цена обретения мужественности.

Первые девицы, к которым я обратился, спросили у меня паспорт. Несмотря на мой голос и вес — я толстый, как мешок со сластями, — они усомнились, что мне уже шестнадцать, хоть я клятвенно заверил их в этом; наверное, они видели, как я рос все эти годы, когда я проходил мимо них, цепляясь за сетку с овощами.

В конце улицы, под козырьком парадной, стояла новенькая. Пухленькая, хорошенькая как картинка. Я показал ей деньги. Она улыбнулась:

— Тебе что, уже стукнуло шестнадцать?

— Ну да, сегодня утром.

Мы поднялись наверх. Мне с трудом верилось: ей двадцать два, просто старуха, и вот она принадлежит мне. Она мне объяснила, как нужно вымыться, затем — как заниматься любовью…

Естественно, я все знал наизусть, но все же позволил ей рассказать, чтобы она не чувствовала себя неловко, и вообще мне нравился ее голос, чуть капризный и грустный. Все это время я пребывал в полуобморочном состоянии. Когда все закончилось, она нежно погладила меня по голове и сказала:

— Не забудь вернуться и принести мне подарочек.

Это едва не отравило мне всю радость: о подарочке-то я забыл. Ну вот, я стал мужчиной, получив крещение в лоне женщины; я едва держался на ногах, так сильно они дрожали, а неприятности уже начались: я забыл о пресловутом подарочке.

Я опрометью помчался домой, кинулся к себе в комнату, оглядел ее в поисках самого ценного, что можно подарить, и тут же понесся обратно на Райскую улицу. Девица все еще стояла на крыльце. Я отдал ей своего плюшевого медвежонка.

Примерно в этот период я и познакомился с мсье Ибрагимом.

Мсье Ибрагим всегда был старым. По единодушным воспоминаниям жителей Голубой улицы и Рыбного предместья, мсье Ибрагим всегда находился в своей продуктовой лавке, с восьми утра и до полуночи; он сидел, ссутулившись, между кассой и грудой моющих средств, одна нога вылезала в проход, другая умещалась под коробками спичек, серый фартук надет поверх белой рубашки, из-под жестких усов виднеются зубы цвета слоновой кости, а глаза у него фисташкового цвета, зеленовато-карие, светлее, чем его смуглая кожа,

испещренная пигментными пятнами мудрости.

Ибо мсье Ибрагим, по всеобщему мнению, слыл мудрецом. Несомненно, потому, что он уже по крайней мере лет сорок умудрялся быть Арабом на еврейской улице [1]. Несомненно, потому, что он много улыбался и мало говорил. Несомненно, потому, что он, казалось, существовал вне обыденной суеты простых смертных, в особенности парижан, так как вечно пребывал в неподвижности, словно ветка, выросшая из табурета, никогда ничего не раскладывал на прилавке в чьем-либо присутствии, а с полуночи до восьми утра вообще исчезал незнамо куда.

Так вот, каждый день я ходил в магазин за едой. Я покупал только консервы. Я покупал их каждый день вовсе не затем, чтобы они всегда были свежими, нет, а из-за того что отец давал мне денег только на один день, и вообще так было легче готовить!

Когда я начал обкрадывать отца, чтобы наказать его за напрасные подозрения, я стал приворовывать и у мсье Ибрагима. Мне было

---

[1] Примечания: 1

«Arabe du coin» *(фр.)* — *букв.* местный араб: торговец предметами первой необходимости, едой и т. д., чей магазин находится прямо около дома человека, употребляющего это выражение. Таким образом, «местный араб» у каждого свой.

немножко совестно, но, борясь со стыдом, я говорил себе уже у кассы, приготовив деньги: «В конце концов, это всего лишь Араб!»

Каждый день я пристально смотрел в глаза мсье Ибрагиму, и это придавало мне смелости. В конце концов, это всего лишь Араб!

— Я не араб, Момо, я родом из стран Золотого Круассана [2].

Я забрал покупки и, ошеломленный, вышел на улицу. Мсье Ибрагим слышал мои мысли! Значит, если он мог их слышать, а мне кажется, что да, может, он знал и то, что я его обкрадываю? На следующий день я не прихватил ни одной банки и спросил его:

— А это что значит, — Золотой Круассан?

Признаюсь, что мне всю ночь мерещился мсье Ибрагим, несущийся по звездному небу, оседлав золотой полумесяц.

— Так называют область, которая простирается от Анатолии до Персии, Момо.

На следующий день, доставая кошелек, я сообщил:

— Меня зовут не Момо, а Моисей.

А еще через день сообщил уже он:

---

[2] Примечания: 2

Страны Золотого Круассана — Афганистан и Пакистан.

— Я знаю, что тебя зовут Моисей, и именно поэтому я зову тебя Момо, это звучит не так обязывающе.

Через день, пересчитывая сантимы, я спросил:

— А вам-то что до этого? Моисей — это же еврейское имя, а не арабское.

— Я не араб, Момо, я мусульманин.

— Тогда почему говорят, что вы местный Араб, если вы не араб?

— Араб, Момо, в нашей торговле это значит: «Открыт с восьми утра до полуночи и даже по воскресеньям».

Так и шел разговор. По одной фразе в день. Времени у нас было достаточно. У него — поскольку он был уже стар, у меня — поскольку молод. Раз в два дня я крал у него по банке консервов.

Наверное, нам понадобился бы год или два, чтобы получился часовой разговор, если бы мы не встретили Брижит Бардо.

Страшное оживление на Голубой улице. Движение остановлено. Улица заблокирована. Снимают фильм.

Все особи женского и мужского пола на Голубой улице, на улице Бабочек и в Рыбном предместье находятся в состоянии готовности. Женщины хотят проверить, так ли она хороша, как про нее

говорят; мужчины же больше не думают, их размышления застряли в молнии ширинки. Брижит Бардо здесь! Эй, настоящая Брижит Бардо!

А я устраиваюсь себе у окна. Смотрю на нее, и она напоминает мне соседскую кошку с пятого этажа, красивую кошечку, которая любит вытянуться на залитом солнцем балконе, и кажется, что она живет, дышит, моргает и щурится только ради того, чтобы вызывать восхищение. Приглядевшись получше, я обнаруживаю, что она к тому же очень похожа на проституток с Райской улицы; на самом деле это проститутки с Райской улицы, чтобы привлечь клиентов, подражают Брижит Бардо, но я-то этого не понимаю. Наконец, в крайнем изумлении я замечаю, что мсье Ибрагим вышел на крыльцо своей лавки. Впервые, по крайней мере на моем веку, он оторвался от своей табуретки.

Насмотревшись, как зверюшка Бардо фыркает перед камерами, я размечтался о прекрасной блондинке, завладевшей моим медвежонком, и решил спуститься к мсье Ибрагиму, чтобы, воспользовавшись его рассеянностью, стянуть пару банок консервов.

Катастрофа! Он уже засел за кассу. Его глаза, созерцающие Бардо поверх мыла и бельевых

прищепок, лучатся смехом. Я его таким никогда не видел.

— Вы женаты, мсье Ибрагим?

— Да, конечно, женат.

Он не привык, чтобы ему задавали вопросы. В этот момент я мог бы поклясться, что мсье Ибрагим вовсе не так стар, как все полагают.

— Мсье Ибрагим! Представьте, что вы с вашей женой и Брижит Бардо оказались на корабле. Корабль терпит крушение. Что вы будете делать?

— Готов поспорить, что моя жена умеет плавать.

Я никогда не видел, чтобы чьи-нибудь глаза так смеялись, можно сказать, хохотали во все горло, это ужасно шумно.

Вдруг — полная боеготовность, мсье Ибрагим вытягивается по стойке «смирно»: на пороге лавки появляется Брижит Бардо.

— Добрый день, мсье, не найдется ли у вас воды?

— Разумеется, мадемуазель.

И тут происходит нечто невообразимое: мсье Ибрагим сам отправляется за бутылкой воды, достает ее с полки и приносит ей.

— Спасибо, мсье, сколько я вам должна?

— Сорок франков, мадемуазель.

Брижит аж подскакивает от удивления. Я тоже. Бутылка минералки в ту пору стоила пару франков, но никак не сорок.

— Я и не знала, что вода здесь такая редкость.

— Редкость не вода, мадемуазель, редкость — это настоящие звезды.

Он говорит это с таким очарованием, с такой неотразимой улыбкой, что Брижит Бардо слегка краснеет, кладет сорок франков и уходит.

Я все еще не могу прийти в себя.

— Да, смелости вам не занимать, мсье Ибрагим.

— А как же, малыш Момо, надо же мне как-то компенсировать все те консервы, которые ты у меня стибрил.

В тот день мы подружились.

Вообще-то теперь я мог бы красть консервы и в другом месте, но мсье Ибрагим заставил меня поклясться:

— Момо, если уж тебе необходимо воровать, приходи и воруй у меня.

Впоследствии мсье Ибрагим надавал мне кучу ценных советов, как заполучить отцовские деньги, чтобы тот при этом ни о чем не догадался: подавать подогретый в духовке вчерашний или позавчерашний хлеб; понемногу добавлять

в кофе цикорий; по несколько раз заваривать чайные пакетики; разбавлять его привычное божоле вином по три франка за бутылку и, венец всему, гениальная идея, доказывающая, что мсье Ибрагим был экспертом в том, как объегорить кого угодно: подменять деревенский паштет собачьими консервами.

Благодаря вмешательству мсье Ибрагима в мире взрослых возникла трещина: он перестал быть той сплошной стеной, о которую я разбивал себе лоб, сквозь образовавшуюся щель мне была протянута рука.

У меня скопилось двести франков, теперь я мог снова доказать себе, что я мужчина.

На Райской улице я сразу направился к козырьку, под которым стояла новая хозяйка моего медвежонка. Я нес ей подаренную мне раковину, настоящую, из моря, из всамделишного моря.

Девушка улыбнулась мне.

В этот момент с аллеи вынырнул какой-то мужчина, припустивший бегом, как крыса, за ним неслась проститутка, вопившая:

— Держи вора! Сумку отдай! Держи вора!

Не мешкая ни секунды, я выставил ногу. Вор растянулся в нескольких метрах от нас. Я взгромоздился на него.

Вор взглянул на меня; увидев, что это всего лишь мальчишка, он улыбнулся, готовясь влепить мне затрещину, но поскольку вопившая что есть мочи девица уже нарисовалась поблизости, он вскочил и был таков. К счастью, вопли проститутки помогли избежать стычки.

Она приблизилась, покачиваясь на высоких каблуках. Я протянул ей сумку, она радостно прижала ее к пышной груди, издававшей такие славные стоны.

— Спасибо, малыш. Что я могу для тебя сделать? Хочешь разок задаром?

Она была старая. Ей уже было лет тридцать. Но мсье Ибрагим мне всегда твердил, что нельзя обижать женщин.

— О'кей.

И мы поднялись к ней. Хозяйка моего медведя была явно возмущена тем, что товарка увела меня у нее из-под носа. Когда мы проходили мимо, она шепнула мне на ухо:

— Приходи завтра. Я тоже не буду брать с тебя денег.

Ну, я не стал ждать до завтра…

Мсье Ибрагим и проститутки отнюдь не облегчали мне отношений с отцом. Я приступил к ужасному и головокружительному занятию:

принялся сравнивать. Возле отца мне всегда было холодно. А с мсье Ибрагимом и проститутками становилось теплее и как-то светлее.

Я разглядывал высокий семейный книжный шкаф, где в несколько рядов выстроились книги — все те книги, которые, по идее, должны вмещать суть человеческого духа, свод законов, тонкости философии. Я смотрел на них в темноте — «Моисей, закрой ставни, свет разъедает переплеты!» — затем я смотрел, как отец читает в своем кресле, огороженный кругом света, падающего от желтой лампы, нависавшей над страницами, словно совесть. Отец был замкнут в стенах науки, он обращал на меня не больше внимания, чем на приблудного пса — кстати, он ненавидел собак, — ему не хотелось бросить мне хотя бы косточку от его познаний. А что если попробовать слегка пошуметь?..

— Ой, извини.

— Моисей, замолчи. Я читаю. Я работаю…

Работа — это было великое слово, служившее объяснением чему угодно…

— Прости, папа.

— К счастью, твой брат Пополь не был таким.

Пополь — это было другое наименование моей никчемности. Отец всегда швырял мне в лицо

воспоминание о моем старшем брате Пополе, когда я делал что-нибудь дурное. «Пополь-то был на редкость усидчив в школе. Пополю нравилась математика, и он никогда не пачкал ванну. И Пополь не писал мимо унитаза. Пополь так любил книги, которые любит папа».

В сущности, не так уж плохо, что мама вместе с Пополем уехала вскоре после моего рождения; если мне было так тяжело бороться с воспоминанием, то уж жить рядом с подобным живым совершенством мне было бы просто не под силу.

— Папа, ты думаешь, я бы понравился Пополю?

Отец с ужасом взирает на меня или, скорее, пытается меня расшифровать.

— Что за вопрос!

Вот как он мне ответил: «Что за вопрос!»

Я научился смотреть на людей глазами моего отца. С подозрением, презрительно… Разговаривать с продавцом-арабом, пусть даже он и не араб, поскольку в торговле араб — «это значит: открыт с восьми утра до полуночи и даже по воскресеньям»; делать одолжение проституткам — все это я хранил в потайном ящичке своего сознания, официально это не являлось частью моей жизни.

— Почему ты никогда не улыбаешься, Момо? — спросил меня мсье Ибрагим.

Вот это был настоящий удар, вопрос ниже пояса, я не ожидал этого.

— Улыбка — это роскошь богатых, мсье Ибрагим. У меня на это нет средств.

Естественно, чтобы мне досадить, он разулыбался.

— Значит, ты думаешь, что я богат?

— У вас все время есть деньги в кассе. Я не знаю, у кого еще под самым носом было бы столько денег.

— Деньги нужны для того, чтобы оплатить товар и аренду магазина. И знаешь, в конце месяца у меня их остается совсем немного.

И он улыбнулся еще шире, будто бросая мне вызов.

— Мсье Ибрагим, когда я сказал, что улыбка — это роскошь богачей, я имел в виду, что это для счастливых людей.

— А вот тут ты ошибаешься. Улыбка и делает нас счастливыми.

— Да ну!

— Попробуй.

— Да ну, говорю.

— Тем не менее, Момо, ведь ты обычно ведешь

себя вежливо?

— Конечно, иначе я получу оплеуху.

— Вежливость — это неплохо. Любезность уже лучше. Попробуй улыбнуться, сам увидишь.

Ладно, в конце концов, когда тебя вот так мило упрашивает мсье Ибрагим, украдкой подсовывая банку тушеной капусты высшего сорта, отчего не попробовать…

На следующий день я веду себя просто как больной, которого ночью укусила неизвестно какая муха: я улыбаюсь всем.

— Нет, мадам, извините, я не понял задание по математике.

Бац: улыбка!

— Я не смог его сделать!

— Ну хорошо, Моисей, я объясню тебе заново.

Что-то невиданное. Меня не бранят, не делают выговор. Ничего.

В столовой…

— А можно мне еще чуть-чуть каштанового мусса?

Бац: улыбка!

— Конечно, с творогом…

И я получаю добавку.

На физкультуре я признаюсь, что забыл кеды.

Бац: улыбка!

— Но они еще не высохли, мсье…

А учитель смеется и похлопывает меня по плечу.

Я в полном упоении. Никто и ничто не может устоять передо мной. Мсье Ибрагим вручил мне совершенное оружие. Я осыпаю всех улыбками с пулеметной скоростью. Никто больше не воспринимает меня как таракана.

По дороге из школы я сворачиваю на Райскую улицу. И говорю самой красивой потаскушке, высокой негритянке, которая мне всегда отказывала:

— Эй! — Бац: улыбка! — Поднимемся?

— Тебе шестнадцать-то есть?

— Да мне уже давно шестнадцать!

Бац: улыбка!

Мы поднимаемся.

А после, уже одеваясь, я рассказываю ей, что я журналист и пишу толстую книгу о проститутках…

Бац: улыбка!

…и что мне нужно, чтобы она немножко рассказала мне о своей жизни, если, конечно, это несложно.

— Ты что, правда журналист?

Бац: улыбка!

— Ага, ну, в общем, учусь на журналиста.

Она говорит со мной. Я гляжу, как тихо приподнимается ее грудь, когда она воодушевляется. Не смею в это поверить. Женщина говорит со мной. Женщина. Улыбка. Она говорит. Улыбка Говорит.

Вечером, когда отец приходит с работы, я, как обычно, помогаю ему снять пальто и встаю перед ним так, чтобы на меня падал свет и он меня видел.

— Ужин готов.

Бац: улыбка!

Он удивленно на меня смотрит. Я продолжаю улыбаться. Под вечер это довольно утомительно, но мне удается.

— Ты явно что-то напакостил.

И тут улыбка исчезает.

Но я не отчаиваюсь. За десертом я пробую еще раз.

Бац: улыбка!

Он смотрит на меня в упор, явно чем-то обеспокоенный.

— Подойди! — велит он мне.

Я чувствую, что моя улыбка побеждает. Готово, еще одна жертва. Я подхожу. Может, он хочет меня поцеловать? Однажды он сказал мне, что

Пополь очень любил его целовать, он был очень ласковым мальчиком. Может быть, Пополь с рождения усек этот трюк с улыбкой? Или же моя мама успела его этому научить.

Я подошел и встал вплотную к отцовскому плечу. Его ресницы подрагивают. Я по-прежнему улыбаюсь во весь рот.

— Нужно будет поставить тебе брекет-систему. Я и не замечал, что у тебя зубы торчат вперед.

С того самого вечера я и стал навещать мсье Ибрагима по вечерам, попозже когда отец ложился спать.

— Я сам виноват, если бы я был как Пополь, отцу было бы легче меня полюбить.

— Да что ты об этом знаешь? Пополь уехал.

— Ну и что?

— Да может, оказалось бы, что он просто не переваривает твоего отца.

— Вы так думаете?

— Он уехал. Это ведь о чем-то говорит?

Мсье Ибрагим дал мне кучу мелочи, чтобы выкладывать столбики. Это меня немного успокоило.

— А вы знали Пополя? Мсье Ибрагим, вы знали Пополя? И как он вам показался?

Он резко закрыл кассу, словно боясь, что она

вдруг заговорит.

— Момо, я скажу тебе одно: ты мне нравишься в сто, в тысячу раз больше, чем Пополь.

— Вот как?

Я был страшно доволен, но не хотел этого показывать. Я сжал кулаки и слегка огрызнулся. Надо же защищать собственную семью.

— Полегче, я не позволю вам говорить гадости о моем брате. Что вы имеете против Пополя?

— Он был очень хорош, Пополь, очень хорош. Но я предпочитаю Момо, уж извини.

Я проявил великодушие и простил его.

Неделей позже мсье Ибрагим направил меня к своему другу, зубному врачу с улицы Бабочек. У мсье Ибрагима в самом деле огромные связи. А на следующий день он сказал мне:

— Момо, улыбайся не так широко, этого будет достаточно. Да нет, я шучу… Мой друг заверил меня, что твои зубы вовсе не нужно выправлять. — Он склонился ко мне, его глаза смеялись. — Только представь: заявляешься на Райскую улицу с этими железяками во рту — кто тогда поверит, что тебе уже шестнадцать?

Тут он меня просто сразил наповал. Так что я сам попросил немного мелочи, чтобы прийти в себя.

— Мсье Ибрагим, откуда вам все это известно?

— Я ничего не знаю. Я знаю лишь то, что написано в моем Коране.

Я сложил еще несколько столбиков из монет.

— Момо, это неплохо — ходить к профессионалкам. Первые разы надо всегда обращаться к профессионалкам, женщинам, которые хорошо знают свое дело. Позже, когда к этому начнут примешиваться всякие сложности, чувства, тогда ты сможешь довольствоваться любительницами.

Я перевел дух.

— А вы сами иногда туда ходите, на Райскую улицу?

— Рай открыт для всех.

— Ну вы и заливаете, мсье Ибрагим! Не будете же вы утверждать, что в вашем возрасте вы все еще туда захаживаете!

— Почему? Это что — только для несовершеннолетних?

Тут до меня дошло, что сморозил глупость.

— Момо, что скажешь, если мы с тобой пойдем прогуляемся?

— А вы что, мсье Ибрагим, иногда ходите пешком?

Ну вот, еще одна глупость. Тогда я широко улыбнулся:

— Да нет, я хотел сказать, что всегда видел вас только здесь сидящим на этом табурете.

Но все равно я был чертовски доволен.

На следующий день мсье Ибрагим направился со мной в Париж, в красивый, как на открытке, Париж туристов. Мы прошлись вдоль Сены, которая на самом деле не совсем прямая.

— Смотри, Момо, Сена обожает мосты, она словно женщина, что без ума от браслетов.

Потом мы прогулялись по садам на Елисейских Полях, там, где театры и представления марионеток. Потом по улице Фобур Сент-Оноре, где было полно магазинов известных марок: «Ланвен», «Гермес», «Ив Сен-Лоран», «Карден»… Было смешно глядеть на эти огромные и пустые бутики и сравнивать их с бакалейной лавочкой мсье Ибрагима: по размеру она была не больше ванной, но там яблоку негде упасть, от пола до потолка — сплошные стеллажи в три ряда, до отказа забитые товарами первой, второй… и даже третьей необходимости.

— С ума сойти, мсье Ибрагим, как бедны витрины богачей. Да там и внутри ничего нет.

— Это и есть люкс, Момо: на витрине пустота, в магазине пустота, все сосредоточено на ценнике.

Мы завершили прогулку во внутреннем саду

Пале-Рояля, где мсье Ибрагим угостил меня свежевыжатым лимонным соком, а сам вновь обрел свою легендарную неподвижность, усевшись у барной стойки и неспешно потягивая анисовый ликер.

— Должно быть, классно жить в Париже.

— Момо, но ведь ты живешь в Париже.

— Нет, я живу на Голубой улице.

Я смотрел, как он смакует свой анисовый ликер.

— Я думал, что мусульмане не употребляют алкоголь.

— Да, но я суфит.

Ну, тут я понял, что продолжать бестактно, что мсье Ибрагиму не хочется говорить о своей болезни — в конце концов, он имеет на это право; на обратном пути я молчал до самой Голубой улицы.

Вечером я открыл отцовский словарь «Ларусс». Должно быть, я и вправду беспокоился о здоровье мсье Ибрагима, потому что, по правде сказать, словари всегда меня разочаровывали.

«Суфизм — мистическое направление ислама, возникшее в VIII веке. В противоположность правоверному исламу он уделяет особое внимание внутренней религии».

Ну вот опять! Словари хорошо объясняют только те слова, которые и так известны.

Во всяком случае, суфизм не был болезнью, и это меня уже немного успокоило; это образ мыслей — хотя мсье Ибрагим любил повторять, что попадаются такие образы мыслей, что сродни болезни. Тут я пустился по словарному следу, пытаясь уразуметь смысл всех слов определения. В общем, выходило, что мсье Ибрагим со своим анисовым ликером верил в бога по-мусульмански, но вроде как в контрабандной манере, так как делал это «в противоположность правоверному исламу», и это добавило мне хлопот… так как если правоверность состояла в «заботе о том, чтобы строго соблюдать закон», как утверждали люди из словаря… это в сущности означало очень обидную вещь, то есть что мсье Ибрагим был непорядочным, а следовательно, его компания мне совсем не подходила. Но с другой стороны, если соблюдать закон означало держаться как адвокат или как мой отец с его посеревшим лицом и нашим тоскливым домом, то я предпочел бы отступить от правоверного ислама заодно с мсье Ибрагимом. А еще люди из словаря добавляли, что суфизм был создан двумя древними парнями, которых звали Аль-Халладж и Аль-Га-

зали — с такими именами им впору ночевать в мансардах в глубине двора — во всяком случае, здесь, на Голубой улице; и еще они уточняли, что суфизм — внутренняя религия, а мсье Ибрагим по сравнению со всеми евреями с нашей улицы, уж точно, был сама сдержанность. За ужином я не мог удержаться, чтобы не засыпать вопросами отца, поглощавшего баранье рагу, точно это собачий корм «Роял Канин».

— Папа, ты веришь в Бога?

Он взглянул на меня. Затем медленно произнес:

— Ты становишься мужчиной, как я посмотрю.

Я не уловил связи. На мгновение мне даже показалось, что кто-то настучал ему о том, что я посещаю девиц с Райской улицы. Но он добавил:

— Нет, мне никогда не удавалось уверовать в Бога.

— Никогда не удавалось? Почему? Это что — требует громадных усилий?

Он вгляделся в сумрак квартиры.

— Чтобы поверить, что все это вообще имеет смысл? Да. Нужны огромные усилия.

— Но, папа, в конце концов, мы же евреи, мы с тобой.

— Да.

— Разве быть евреем не имеет никакого отношения к Богу?

— Для меня это больше не имеет никакого отношения. Быть евреем просто значит обладать памятью. Скверной памятью.

Он выглядел как человек, которому нужно срочно принять несколько таблеток аспирина. Наверное, это оттого, что он заговорил, — впрочем, один дождь погоды не делает. Он поднялся и прямо от стола направился спать.

Несколько дней спустя он вернулся домой еще более бледный, чем обычно. Я почувствовал себя виноватым. Что если, скармливая ему всякую дрянь, я подорвал его здоровье?

Он уселся и знаком дал мне понять, что хочет что-то сказать. Но удалось ему это лишь минут через десять.

— Моисей, меня уволили. В конторе, где я работаю, в моих услугах больше не нуждаются.

Честно говоря, меня не сильно удивило, что у них не было желания работать вместе с моим отцом — он, должно быть, угнетающе действовал на преступников, — но в то же время я как-то не представлял себе, что адвокат может перестать быть адвокатом.

— Придется мне снова искать работу. В другом

месте. Придется затянуть потуже пояс, малыш.

Он пошел спать. Очевидно, его не интересовало, что я обо всем этом думаю.

Я спустился проведать мсье Ибрагима; тот улыбался, жуя арахис.

— Мсье Ибрагим, как вы умудряетесь быть счастливым?

— Я знаю то, что написано в моем Коране.

— Наверное, мне придется как-нибудь стянуть у вас этот ваш Коран. Даже если евреям и не положено так поступать.

— Момо, а что это означает для тебя — быть евреем?

— Уф-ф, понятия не имею. Для отца это значит ходить весь день подавленным. А для меня… это просто какая-то хрень, которая мешает мне быть другим.

Мсье Ибрагим протянул мне орешки:

— Момо, что-то мне не нравится твоя обувка. Завтра пойдем покупать тебе ботинки.

— Да, но…

— Человек проводит свою жизнь только в двух местах: либо в кровати, либо в ботинках.

— Да ведь у меня нет на это денег, мсье Ибрагим.

— Я куплю их для тебя, Момо. Это мой подарок.

У тебя одна-единственная пара ног, нужно же о них заботиться. Если ботинки жмут, ты их меняешь. Потому что ноги не заменишь!

На следующий день, вернувшись из лицея, на полу в полутемной прихожей я обнаружил записку. Не знаю почему, но при виде отцовского почерка сердце бешено заколотилось.

> Моисей,
> прости меня, я уезжаю. Хорошего отца из меня так и не вышло. Попо…

Тут слово было зачеркнуто. Несомненно, он собирался бросить мне еще одну фразу о Пополе. Типа «с Пополем мне бы это удалось, но не с тобой» или «в отличие от тебя, Пополь — тот давал мне силы и энергию выполнять отцовский долг», — короче, гадость, которую он постыдился написать. Ну, в общем, намерение я понял, и на том спасибо.

> Возможно, мы еще свидимся когда-нибудь, когда ты повзрослеешь. Когда мне будет не так стыдно и ты меня простишь.
> Прощай.
> Ну да, прощай!
> P. S. На столе все деньги, что у меня

остались. Вот список людей, которых следует известить о моем отъезде. Они о тебе позаботятся.

Следовал список из четырех совершенно незнакомых мне имен.

И тут я принял решение. Придется притворяться.

Признать, что меня бросили, я не мог — тут и обсуждать нечего. Бросили дважды: первый раз — когда я родился, меня бросила моя мать; второй раз — теперь, мой отец. Если об этом пронюхают, со мной больше никто не захочет иметь дела. Что же во мне такого ужасного? Есть ли во мне что-то, из-за чего меня нельзя полюбить? Решение мое было бесповоротным: нужно симулировать присутствие отца. Заставлю всех поверить, что он здесь живет, ест здесь, что он все еще коротает со мной долгие скучные вечера.

Кстати, я не стал с этим тянуть: я спустился в бакалею.

— Мсье Ибрагим, у отца неважно с желудком. Что мне ему дать?

— Немного «Фернет Бранка». Держи, Момо, у меня есть бутылочка.

— Спасибо, пойду отнесу это, чтобы он поскорее

принял.

С деньгами, которые оставил отец, я мог продержаться месяц. Я научился за него расписываться, чтобы заполнять необходимые бумаги, отвечать на письма из лицея. Я продолжал готовить на двоих, каждый вечер я ставил вторую тарелку напротив своей; просто в конце ужина я выбрасывал его порцию.

Несколько вечеров в неделю специально для соседей из дома напротив я, надев отцовский свитер, ботинки, припудрив волосы мукой, усаживался в его кресло и пытался читать Коран: мсье Ибрагим, уступив моим просьбам, подарил мне красивый новенький экземпляр.

В лицее я сказал себе, что нельзя терять ни секунды: мне следует влюбиться. Выбора в общем-то не было, поскольку в школе учились только мальчики; все были влюблены в дочь швейцара Мириам, которая, несмотря на свои тринадцать лет, скоренько сообразила, как царствовать над тремя сотнями жаждущих подростков. Я принялся за ней ухаживать с отчаянием утопающего.

Бац: улыбка!

Я должен был доказать себе, что кто-то может меня полюбить, я должен был поведать об этом всему миру, прежде чем кто-нибудь обнаружит,

что даже мои родители — единственные, кто обязан терпеть меня во что бы то ни стало, — предпочли смыться.

Я рассказывал мсье Ибрагиму о ходе завоевания Мириам. Он слушал меня с усмешкой человека, знающего, чем все закончится, но я делал вид, что не замечаю этого.

— А как поживает твой отец? Что-то его больше не видно по утрам…

— У него много работы. С этой новой работой ему теперь приходится рано выходить из дому…

— Вот как? И он не сердится на то, что ты читаешь Коран?

— Вообще-то я читаю украдкой… А потом, я здесь не слишком много уразумел.

— Если хочешь узнать о чем-нибудь, то книги тут не помогут. Надо с кем-нибудь поговорить. Я не верю в книги.

— Но, мсье Ибрагим, вы же сами мне всегда говорили, что знаете то…

— Да, я знаю то, что написано в моем Коране… Момо, мне захотелось увидеть море. Что если нам съездить в Нормандию? Хочешь со мной?

— Да вы что, правда?

— Конечно, если твой отец согласен.

— Да он точно согласится.

— Ты уверен?

— Говорю вам, согласится!

Когда мы очутились в холле «Гранд-отеля» в Кабуре, я вдруг расплакался: не смог сдержаться. Я плакал два или три часа, задыхаясь в рыданиях.

Мсье Ибрагим смотрел, как я плачу. Он терпеливо ждал, когда я смогу заговорить. Наконец я смог выдохнуть:

— Мсье Ибрагим, здесь слишком красиво, здесь правда слишком красиво. Это не для таких, как я. Я этого не заслуживаю.

Мсье Ибрагим улыбнулся:

— Красота, Момо, — она повсюду. Везде, куда ни глянь. Так написано в Коране.

Потом мы пошли побродить по берегу моря.

— Знаешь, Момо, человеку, которому Бог сам не открыл жизнь, книга ничего не откроет.

Я рассказывал ему о Мириам и говорил о ней тем больше, чем больше хотел умолчать об отце. Едва допустив меня в круг соискателей, Мириам тут же отвергла меня как недостойного кандидата.

— Это ничего, — промолвил мсье Ибрагим. — Твоя любовь принадлежит тебе. Пусть даже она ее не примет, она не в силах ничего изменить. Просто ей не достанется этой любви, вот и все. То,

что ты отдал, Момо, твое навеки; а то, что оставил себе, — навсегда потеряно!

— А вы женаты?

— Да.

— А почему вы здесь не с женой?

Он указал на море:

— Здесь и вправду английское море, зеленовато-серое, а не обычного для воды цвета; как будто оно приобрело акцент!

— Мсье Ибрагим, вы мне не ответили про вашу жену! Где она?

— Момо, отсутствие ответа — это и есть ответ.

Каждое утро мсье Ибрагим просыпался первым. Он подходил к окну, вдыхал свет и медленно проделывал свои гимнастические упражнения — как каждое утро, всю жизнь. Он был невероятно гибким. Лежа в постели, я сквозь прищуренные веки видел силуэт все еще молодого, долговязого, нескладного мужчины, каким он, наверное, и был когда-то, только очень давно.

К огромному удивлению, как-то в ванной я заметил, что и мсье Ибрагим тоже подвергся обрезанию.

— Вы тоже, мсье Ибрагим?

— У мусульман, как и у евреев, Момо. Это Авраамова жертва: он протягивает своего сына Богу,

говоря, что тот может его забрать. Маленький кусочек кожи, которого нам недостает, — это след Авраама. При обрезании отец должен держать сына: отец дарует собственную боль как воспоминание о жертве Авраама.

Благодаря мсье Ибрагиму я стал понимать, что евреи, мусульмане и даже христиане имели кучу общих великих предков еще до того, как начали бить друг друга по морде. Лично меня это не касалось, но все же я почувствовал себя лучше.

По возвращении из Нормандии, войдя в темную пустую квартиру, я не ощутил, что переменился, но счел, что перемениться мог бы мир. Я думал, что следовало бы открыть окна, что стены могли бы быть светлее, думал, что, наверное, не обязан хранить эту пропахшую прошлым мебель — не прекрасным прошлым, а прогорклым старьем, воняющим, как старая половая тряпка.

У меня закончились деньги. Я стал понемногу продавать книги букинистам с набережных Сены, которых мне показал мсье Ибрагим во время наших прогулок. Каждый раз, продавая книгу, я ощущал приток свободы.

Прошло уже три месяца с тех пор, как исчез мой отец. Я по-прежнему поддерживал свой обман, готовил на двоих, и, как ни странно, мсье

Ибрагим задавал мне все меньше вопросов об отце. Мои отношения с Мириам шли ни шатко ни валко, но зато служили отличной темой для ночных разговоров с мсье Ибрагимом.

Иногда по вечерам на сердце бывало тяжело. Это потому что я думал о Пополе. Теперь, когда отца больше не было рядом, мне хотелось бы познакомиться с Пополем. Его бы я уж точно лучше выносил, поскольку теперь меня не тыкали бы носом, противопоставляя его моей собственной ничтожности. Засыпая, я нередко думал, что где-то на свете у меня есть брат, красивый и совершенный, пока еще мне незнакомый, с которым мне, быть может, однажды удастся встретиться.

Как-то утром в дверь постучали полицейские. Они кричали прямо как в фильмах:

— Откройте! Полиция!

Я подумал: ну вот, все кончено, я совсем завралсся и теперь меня арестуют.

Я накинул халат и отворил все засовы. Вид у полицейских был куда менее устрашающий, чем я себе воображал, они даже вежливо попросили разрешения войти. К тому же мне хотелось одеться, перед тем как отправиться в тюрьму.

В гостиной инспектор взял меня за руку и ласково сказал:

— Мальчик, у нас плохая новость. Ваш отец умер.

Не знаю, что именно в тот момент поразило меня больше — смерть отца или то, что полицейский обратился ко мне на «вы». Во всяком случае, я рухнул в кресло.

— Он бросился под поезд неподалеку от Марселя.

Это тоже было довольно странно: тащиться для этого в Марсель! Поездов ведь везде полно. В Париже их столько же, если не больше. Решительно, мне никогда не удастся понять отца.

— Все указывает на то, что ваш отец впал в отчаяние и решил покончить жизнь самоубийством.

Наличие отца-самоубийцы вряд ли могло принести мне облегчение. В конечном счете мне кажется, я предпочел бы отца, который покинул меня; по крайней мере я смог бы утешиться надеждой, что его мучают угрызения совести.

Полицейские, казалось, понимали мое молчание. Они смотрели на опустошенный книжный шкаф, оглядывали мрачную квартиру, явно испытывая облегчение при мысли, что через несколько минут ее покинут.

— Скажи, кого необходимо поставить в известность?

Тут наконец я среагировал верно. Я потянулся за списком из четырех фамилий, который отец оставил мне перед отъездом. Инспектор положил его в карман.

— Мы доверим это службе социальной помощи.

Затем он подошел ко мне, глядя как побитая собака, и тут я понял, что он собирается спросить что-нибудь эдакое.

— У меня к вам есть деликатная просьба: нужно, чтобы вы опознали тело.

Это сработало как сигнал тревоги. Я завопил, словно кто-то включил сигнализацию. Полицейские суетились вокруг меня, словно отыскивая выключатель. Вот только, к несчастью, выключателем был я, и я никак не мог остановиться.

Мсье Ибрагим был бесподобен. Заслышав мои крики, он поднялся в квартиру, в одно мгновение оценил ситуацию и сказал, что сам отправится в Марсель, чтобы опознать тело. Сначала полицейские сомневались: уж слишком он был похож на араба, но тут я снова завопил, и они согласились на его предложение.

После похорон я спросил у мсье Ибрагима:

— Когда вам все стало ясно про моего отца?

— С тех пор, как мы съездили в Кабур. Но зна-

ешь, Момо, ты не должен сердиться на отца.

— Вот как? Почему же? Отец отравляет мне жизнь, затем бросает меня на произвол судьбы и кончает с собой, — вот он, священный капитал доверия на всю жизнь. А плюс ко всему я еще и не должен на него сердиться?

— У твоего отца не было перед глазами никакого примера. Он очень рано потерял родителей, потому что их увезли нацисты и они погибли в концлагере. Твой отец был поражен тем, что ему удалось избежать подобной участи. Может, он винил себя в том, что остался жив. Он ведь не просто так бросился под поезд.

— Да ну? И почему же?

— Поезд увез его родителей навстречу смерти. Возможно, и он всю жизнь искал свой поезд… Если у него и не было сил жить, то это не из-за тебя, Момо, а из-за всего того, что было или не было давно, еще до твоего рождения.

Затем мсье Ибрагим сунул мне в карман несколько банкнот:

— На, отправляйся на Райскую улицу. Девицы, должно быть, недоумевают, отчего ты забросил свою книгу…

Я решил все изменить в квартире на Голубой улице. Мсье Ибрагим снабдил меня краской и

кистями. Он также давал мне советы, как сбить с толку инспекторшу из социальной службы, чтобы выиграть время.

Как-то днем — я как раз распахнул все окна, чтобы выветрить запах акриловой краски, — в квартиру зашла женщина. Не знаю как, но по ее смущению, замешательству, по тому, как она не решалась пройти под стремянкой, как переступала через пятна краски на полу, я сразу понял, кто она.

Я притворился, будто полностью поглощен малярными работами.

Наконец она робко откашлялась.

Я напустил на себя удивленный вид:

— Вы кого-то ищете?

— Мне нужен Моисей, — произнесла моя мать.

Странно, ей с трудом удалось выговорить это имя, оно словно застревало в ее горле.

Я позволил себе немного поиздеваться над ней:

— А вы кто?

— Я его мать.

Бедная женщина, мне ее жаль. Она в ужасном состоянии. Она, должно быть, с трудом пересилила себя, чтобы решиться приехать сюда. Она напряженно меня разглядывает, пытаясь что-то

разгадать в чертах моего лица. Ей страшно, очень страшно.

— А ты кто?

— Я?

Мне хочется позабавиться. Понятия не имею, как следует вести себя в подобных обстоятельствах, тем более что мы тринадцать лет как расстались.

— Меня зовут Момо.

Ее лицо словно покрывается трещинками. А я с ухмылкой добавляю:

— Это уменьшительное от Мохаммеда.

Она становится бледнее моих белил.

— Вот как? Ты не Моисей?

— Нет-нет, не путайте, мадам. Я — Мохаммед.

Она судорожно сглотнула. В глубине души она не так уж недовольна.

— Но разве не здесь живет мальчик по имени Моисей?

Мне хочется ответить: «Не знаю, ведь это вы его мать, кому, как не вам, это должно быть известно». Но в последнюю секунду я сдерживаюсь, потому что несчастная женщина явно с трудом держится на ногах. Вместо этого я придумываю славную отмазку:

— А Моисей уехал, мадам. Ему надоело торчать

здесь. У него об этом месте не лучшие воспоминания.

— Вот как?

Надо же, я не знаю, верит ли мне она. По всей видимости, мне не удалось до конца убедить ее. В конце концов, может она не так глупа.

— А когда он вернется?

— Не знаю. Уезжая, он сказал мне, что хочет разыскать своего брата.

— Брата?

— Ага, у Моисея же есть брат.

— Вот как?

Вид у нее совершенно ошеломленный.

— Ну как же, его брат — Пополь.

— Пополь?

— Да, мадам, Пополь, его старший брат!

Уж не кажусь ли я ей каким-то придурком? Или она и вправду верит, что я Мохаммед?

— Но Моисей мой первый ребенок. У меня не было никакого Пополя.

Тут уж и мне поплохело.

Заметив это, она пошатнулась и опустилась в кресло. Я сделал то же самое.

Мы молча глядим друг на друга, задыхаясь от едкого акрилового запаха. Она внимательно изучает меня, ловя каждый взмах ресниц.

— Скажи, Момо…

— Мохаммед.

— Скажи, Мохаммед, ты ведь еще увидишь Моисея?

— Может быть.

Я произнес это таким непринужденным тоном, что даже сам удивился, как это мне удалось. Она пристально смотрит мне в глаза Что ж, может сколько угодно меня разглядывать, ей не удастся выжать из меня ни слова, я в себе уверен.

— Если ты увидишь Моисея, передай ему, что я была очень молода, когда вышла замуж за его отца, что я вышла за него, только чтобы сбежать от родителей. Я никогда не любила отца Моисея, но была готова полюбить самого Моисея. Только вот я познакомилась с другим мужчиной. Твой отец…

— Простите?

— Я хотела сказать… отец Моисея. Он тогда сказал мне: «Уезжай и оставь мне Моисея, иначе…» И я уехала. Я предпочла начать жизнь заново, жизнь, где есть место счастью.

— Так, конечно, лучше, это точно.

Она опускает глаза.

Подходит ко мне. Я чувствую, что она хочет поцеловать меня. Притворяюсь, что не понимаю.

А она умоляющим голосом спрашивает:

— Ты передашь это Моисею?

— Это можно.

В тот же вечер, зайдя к мсье Ибрагиму, я в шутку спросил:

— Итак, когда же вы меня усыновите, мсье Ибрагим?

А он ответил, тоже в шутку:

— Да хоть завтра, если хочешь, малыш Момо!

Нам пришлось выдержать сражение. Официальный мир, мир печатей, разрешений, злобных — стоит их потревожить — чиновников, никто нас и слушать не хотел. Но мсье Ибрагим не терял мужества.

— Момо, их отказ у нас уже в кармане. Осталось получить разрешение.

Моя мать благодаря уговорам социальной инспекторши в конце концов смирилась с намерением мсье Ибрагима.

— А ваша жена, мсье Ибрагим? Что если она будет против?

— Моя жена уже давно вернулась на родину. Я могу делать все, что пожелаю. Но если хочешь, летом можем навестить ее.

В тот день, когда мы наконец получили пресловутую бумагу, удостоверявшую, что отныне я

сын того, кого выбрал сам, мсье Ибрагим решил, что нам необходимо купить машину, чтобы это отпраздновать.

— Момо, мы будем путешествовать. А этим летом мы вместе поедем на Босфор, я покажу тебе море, то самое, откуда я родом.

— Может, лучше полететь туда на ковре-самолете?

— Открой каталог и выбери машину.

— Хорошо, папа.

Произнося одни и те же слова, можно испытывать такие разные чувства, с ума сойти. Когда я говорил мсье Ибрагиму «папа», на сердце было радостно, я просто раздувался от счастья, будущее казалось лучезарным.

Мы направились в автосалон.

— Я хочу купить вот эту модель. Ее выбрал мой сын.

У мсье Ибрагима словарный запас был победнее моего. В любую фразу он норовил вставить «мой сын», как будто только что лично изобрел отцовство.

Продавец начал расписывать нам характеристики автомобиля.

— Не надо мне нахваливать товар. Говорю вам: я хочу его купить.

— У вас есть водительские права, мсье?

— Разумеется.

Тут мсье Ибрагим достал из своего кожаного бумажника документ, выданный, самое позднее, во времена первых фараонов. Продавец с ужасом взирал на этот папирус, во-первых, потому, что буквы почти стерлись, во-вторых, потому, что он был написан на незнакомом ему языке.

— Это водительское удостоверение?…

— А что, не видно?

— Хорошо. Мы предлагаем вам оплату в рассрочку. Например, в течение трех лет. Вы должны будете…

— Когда я вам говорю, что хочу купить машину, значит, я могу ее купить. Я плачу наличными.

Мсье Ибрагим был явно задет. Решительно, продавец совершал один ляп за другим.

— Тогда выпишите чек на…

— Да хватит же! Говорю вам, я плачу наличными. Деньгами. Настоящими деньгами. — И он бухнул на стол пачки денег — толстые пачки потрепанных банкнот, завернутые в полиэтиленовый пакет.

Продавец задыхался.

— Но… но… никто не платит наличными… — это… это невозможно.

— Это что, не деньги? Я же принял их в свою кассу, почему бы и вам их не взять? Момо, как тебе кажется, это серьезная фирма?

— Хорошо. Сделаем так. Мы предоставим ее в ваше распоряжение через две недели.

— Две недели? Да это невозможно: мало ли, вдруг я через две недели помру!

Машину доставили через два дня прямо к бакалейной лавочке… Да, мсье Ибрагим был силен.

Сев в машину, он стал осторожно дотрагиваться до всех рычагов длинными тонкими пальцами; затем отер пот со лба, лицо у него аж позеленело.

— Я не помню, Момо.

— Но вы же вроде учились?

— Да, давным-давно, с моим другом Абдуллой. Но…

— Но?

— Но машины были совсем другие.

Мсье Ибрагиму было явно не по себе.

— Скажите, мсье Ибрагим, машины, которые вы учились водить, их что, тянули лошади?

— Нет, малыш Момо, то были ослы. Ослы.

— А ваше водительское удостоверение? Что это было?

— Мм… старое письмо моего друга Абдуллы, который писал мне о том, как собрали урожай.

— Похоже, мы вляпались!

— Ты сам это сказал, Момо.

— А ваш Коран — нет ли там, как всегда, какой-нибудь подсказки, которая натолкнула бы нас на решение?

— Да ты что, Момо! Коран — это же не учебник по механике! Это полезно для духовных вещей, а не для груды металлолома. К тому же в Коране все путешествуют на верблюдах!

— Не нервничайте, мсье Ибрагим.

В конце концов мсье Ибрагим решил, что мы вместе будем брать уроки вождения. Поскольку мне по возрасту это еще не полагалось, официально водить учился он, а я сидел на заднем сиденье, стараясь не упустить ни слова из того, что говорил инструктор. По окончании урока мы выводили свою машину, и я садился за руль. Чтобы избежать оживленного движения, мы катались по ночному Парижу.

У меня получалось все лучше и лучше.

Наконец настало лето, и мы отправились в путь.

Тысячи километров. Мы пересекали Европу в южном направлении. С открытыми окнами. Мы ехали на Восток. Было здорово обнаружить, каким интересным становится мир, когда путе-

шествуешь с мсье Ибрагимом.

Поскольку я, вцепившись в руль, был сосредоточен на дороге, он описывал мне пейзажи, небо, облака, деревни, людей. Болтовня мсье Ибрагима, его слабый, словно папиросная бумага, голос с перчинкой акцента, эти картины, возгласы, удивленные вопросы, сменявшиеся самыми дьявольскими хитростями, — такой запомнилась мне дорога, ведущая из Парижа в Стамбул. Я не видел Европы, я ее слышал.

— Ух ты, Момо, да мы попали к богачам: смотри, здесь есть урны.

— Ну и что, что урны?

— Когда нужно узнать, где ты оказался — в богатом или бедном районе, смотри на урны. Где нет ни мусора, ни урн, там живут супербогачи. Где видишь урны, а мусора нет, там просто богачи. Если мусор валяется возле урн, значит, ни то ни се, просто полно туристов. А если кругом мусор, а урн нет, то место это бедное. Ну а если среди мусора живут люди, то очень-очень бедное. А здесь богато.

— Ну да, это же Швейцария!

— О нет, не надо на автостраду, Момо, не надо. Автострады словно говорят тебе: проезжайте, здесь смотреть не на что. Это для придурков, ко-

торые хотят поскорее добраться из одной точки в другую. А у нас здесь не геометрия, а путешествие. Укажи-ка мне симпатичные проселки, откуда видно все, что тут только есть.

— Сразу видно, что не вам вести машину.

— Слушай, Момо, если не хочешь ни на что смотреть, то сядь на самолет, как все люди.

— А здесь бедно, мсье Ибрагим?

— Да, это Албания.

— А там?

— Останови машину. Чуешь? Здесь пахнет счастьем, это Греция. Люди неподвижны, они неторопливо смотрят, как мы проезжаем мимо них, они дышат. Видишь ли, Момо, я всю свою жизнь работал много, но работал неторопливо, спокойно распоряжаясь собственным временем, я не хотел повысить торговый оборот или чтобы ко мне покупатели выстраивались в очередь. Неспешность, — вот в чем секрет счастья. Чем бы ты хотел заняться, когда вырастешь?

— Не знаю, мсье Ибрагим. Хотя вот чем: экспорт-импорт.

— Экспорт-импорт?

Тут я выиграл очко, нашел волшебное слово. «Импорт-экспорт» не сходил у мсье Ибрагима с языка. Это было одновременно серьезное и аван-

тюрное слово, оно напоминало о путешествиях, о кораблях, о ящиках, об огромном товарообороте, это слово весило столько же, сколько перекатывающиеся в нем слоги, «экспорт-импорт»!

— Позвольте представить вам моего сына, он намерен заниматься экспортом-импортом.

У нас было полно развлечений. Он вводил меня с завязанными глазами в различные храмы, чтобы я по запаху отгадывал, к какой они относятся конфессии.

— Здесь пахнет восковыми свечками, это католическая церковь.

— Да, это церковь Святого Антония.

— Здесь пахнет ладаном, значит, православная.

— Правильно, это собор Святой Софии.

— А здесь пахнет ногами, стало быть, мусульманский храм. Нет, правда, тут сильно воняет…

— Что?! Да это же Голубая мечеть! Неужто место, где пахнет телом, для тебя недостаточно хорошо? У тебя что, никогда от ног не пахнет? Молитвенное место, пахнущее человеком, созданное для человека, где внутри люди, вызывает у тебя отвращение? Что за парижские понятия! А меня этот запах носков успокаивает. Мне кажется, что я ничем не лучше своего соседа. Я чувствую себя,

чувствую других и от этого чувствую себя лучше!

После Стамбула мсье Ибрагим стал молчаливее. Он был взволнован.

— Скоро мы доберемся до моря, откуда я родом.

С каждым днем ему хотелось, чтобы мы ехали все медленнее. Он хотел наслаждаться. И в то же время ему было страшно.

— А где оно, море, о котором вы говорите? Покажите мне его на карте.

— Ах, отстань от меня со своими картами, Момо, мы же не в школе!

Мы остановились в горной деревушке.

— Момо, я счастлив. Ты здесь, и я знаю то, что написано в Коране. Теперь я хочу отвести тебя на танцы.

— На танцы?

— Так нужно. Это необходимо. «Сердце человека словно птица, заключенная в клетке его тела». Когда ты танцуешь, оно поет, как птица, стремящаяся раствориться в Боге. Давай пошли в текке.

— Куда-куда?

— Странный танцпол! — сказал я, переступив порог.

— Текке — это не танцпол, а монастырь. Момо, сними ботинки.

И тут впервые в жизни я увидел вращающихся

людей. На дервишах были большие светлые балахоны из тяжелой, мягкой ткани. Послышалась барабанная дробь. И тогда каждый из монахов превратился в волчок.

— Видишь, Момо! Они вращаются вокруг собственной оси, вокруг своих сердец, в которых пребывает Бог. Это как молитва.

— Вы называете это молитвой?

— Ну да, Момо. Они теряют все земные ориентиры, ту тяжесть, что называется равновесием, и становятся факелами, сгорающими в громадном огне. Попробуй, Момо, попробуй. Следуй за мной.

И мы с мсье Ибрагимом принялись вертеться.

Проделывая первые вращения, я думал: я счастлив с мсье Ибрагимом. Затем я думал: я больше не сержусь на отца за то, что тот ушел. После у меня даже мелькнула такая мысль: в конце концов, у моей матери, в общем-то, не было выбора, когда она…

— Ну что, Момо, ты почувствовал что-нибудь прекрасное?

— Ага, это было потрясающе. Из меня уходила ненависть. Если бы барабаны не остановились, я бы, наверное, обдумал то, что произошло с моей матерью. А классно было молиться, мсье Ибрагим; правда, я предпочел бы молиться в

кроссовках. Чем тяжелее тело, тем легче дух.

С этого дня мы частенько делали остановки, чтобы потанцевать в известных мсье Ибрагиму текке. Иногда сам он не вертелся, а просто пил чай, прищурившись, но я вертелся как бешеный. Нет, на самом деле я вертелся, чтобы перестать беситься.

Вечерами в деревнях я пытался заговорить с девушками. Старался изо всех сил, но это не очень срабатывало, а вот мсье Ибрагим, который не делал ничего особенного, разве что, улыбаясь, тихо и умиротворенно потягивал свой анисовый ликер, уже через час обычно был окружен народом.

— Ты чересчур суетишься, Момо. Если хочешь иметь друзей, не стоит суетиться.

— Мсье Ибрагим, как вы считаете, я красивый?

— Ты очень красивый, Момо.

— Нет, я не это имел в виду. Как вы думаете, когда я вырасту, то буду достаточно красив, чтобы нравиться девушкам… бесплатно?

— Да через несколько лет они сами будут тебе приплачивать!

— Да, но… сейчас на меня никакого спроса…

— Естественно, Момо. Ты только погляди, как ты берешься за дело? Ты пялишься на них, словно говоря: «Видали, какой я красавец!» Ну конечно,

они смеются. Ты должен смотреть на них, всем видом показывая: «Никогда не видел никого прекрасней вас». Для нормальных мужчин, я хочу сказать, таких, как мы с тобой, — не Алена Делона или Марлона Брандо, нет, их красота — это прежде всего то, что они сами видят в женщине.

Мы смотрели, как солнце потихоньку скрывается за горными вершинами, а небо становится фиолетовым. Папа пристально глядел на вечернюю звезду.

— Момо, перед нами была поставлена лестница, чтобы мы могли сбежать. Человек сначала был камнем, затем растением, затем животным — про животное-то он и не может забыть и нередко вновь в него превращается, — а затем он стал человеком, наделенным знанием, разумом, верой. Представляешь себе, какой путь ты проделал из пыли, чтобы стать тем, кто ты есть сегодня? А позже, когда ты превзойдешь свою человеческую сущность, ты станешь ангелом. И с землей все будет покончено. В танце ты это предчувствуешь.

— М-да. Я, во всяком случае, ни о чем таком не помню. Вот вы, мсье Ибрагим, вы помните, как были растением?

— А ты прикинь, чем я занимаюсь, сидя часами неподвижно на своем табурете в бакалейной

лавке?

Затем настал тот знаменательный день, когда мсье Ибрагим объявил мне, что скоро мы прибудем на его родное море и встретим его друга Абдуллу. Он был взволнован, как юноша. Сначала он хотел сходить туда один, на разведку, и попросил меня подождать под оливой.

Как раз был час сиесты. Я прикорнул, прислонившись к дереву.

Когда я проснулся, дня как не бывало. Я ждал мсье Ибрагима до полуночи.

Я дошел до следующей деревни. Когда я появился на площади, ко мне кинулись люди. Я не понимал их языка, но они оживленно что-то говорили; казалось, они хорошо меня знают. Они привели меня в большой дом. С начала я миновал длинный зал, где несколько женщин, сидя на корточках, раскачиваясь, издавали стоны. Затем меня привели к мсье Ибрагиму.

Он лежал, весь израненный, покрытый синяками, в крови. Машина врезалась в стену.

Выглядел он совсем скверно.

Я кинулся к нему. Он приоткрыл глаза и улыбнулся:

— Момо, путешествие подошло к концу.

— Да нет же, мы ведь еще не добрались до ва-

шего родного моря.

— А я к нему уже приближаюсь. Все рукава реки впадают в одно и то же море. Единое море.

Тут я, не сдержавшись, заплакал.

— Момо, я недоволен.

— Я боюсь за вас, мсье Ибрагим.

— А я не боюсь, Момо. Я знаю то, что написано в Коране.

Ему не стоило произносить эту фразу, так как она напомнила столько всего хорошего, что я просто зашелся в рыданиях.

— Момо, ты плачешь о себе, а не обо мне. Я хорошо прожил свою жизнь. Дожил до старости. У меня была жена, она уже давно умерла, но я ее все так же люблю. У меня был друг Абдулла, которому ты передашь от меня привет. Дела в моей лавке шли хорошо. А Голубая улица очень хороша, хоть она на самом деле и не голубая. А потом у меня был ты.

Чтобы сделать ему приятное, я проглотил слезы, поднатужился — и бац: улыбка!

Он был доволен. Казалось, что ему уже не так больно.

Бац: улыбка!

Он тихо закрыл глаза.

— Мсье Ибрагим!

— Тсс… Не волнуйся. Я не умираю, Момо, я присоединяюсь к необъятному.

Вот так.

Я еще немного задержался в тех краях. Мы много говорили о папе с его другом Абдуллой. И мы тоже много вертелись.

Мсье Абдулла был как мсье Ибрагим, но только то был пергаментный мсье Ибрагим, с кучей редких слов, стихов, заученных наизусть, мсье Ибрагим, который большую часть времени читал, а не сидел за кассой. Те часы, когда мы вертелись в текке, он называл танцем алхимии, танцем, превращающим медь в золото. Он часто цитировал Руми. Тот говорил:

Золоту не нужен философский камень, а меди нужен.

Совершенствуйся.

Умертви то, что живо: это твое тело.

Оживи то, что мертво: это твое сердце.

Спрячь то, что явно: это земной мир.

Верни то, чего нет: это мир будущей жизни.

Уничтожь то, что есть: это страсть.

Создай то, чего не существует: это намерение.

Так что даже сейчас, когда мне плохо, я верчусь.

Рука в небо — и я верчусь. Рука к земле — и я верчусь. Надо мной вертится небо. Подо мной вертится земля. Я уже не я, а один из тех атомов, что вертятся вокруг ничто, которое есть все.

Как говорил мсье Ибрагим: «Твой ум — в щиколотке, и щиколотка твоя мыслит очень глубоко».

Я вернулся автостопом. «Доверился Богу», как сказал мсье Ибрагим о нищих: я просил милостыню и спал под открытым небом, и это тоже был прекрасный подарок. Мне не хотелось тратить деньги, которые мсье Абдулла сунул мне в карман, обняв меня, перед тем как мы расстались.

Вернувшись в Париж, я обнаружил, что мсье Ибрагим все предусмотрел. Он раскрепостил меня: я был теперь свободен. И унаследовал его деньги, бакалейную лавку и его Коран.

Нотариус протянул мне серый конверт, из которого я осторожно извлек старую книгу. Наконец-то я мог узнать, что же было в его Коране.

В Коране лежали два засушенных цветка и письмо его друга Абдуллы.

Теперь я Момо, и на нашей улице меня всякий знает. В конце концов я не стал заниматься экспортом-импортом — я тогда это ляпнул просто так, чтобы произвести впечатление на мсье Ибрагима.

Иногда моя мать приходит меня навестить. Она зовет меня Мохаммедом, чтобы я не сердился, и спрашивает, что нового у Моисея. Я ей сообщаю.

В последний раз я объявил ей, что Моисей нашел своего брата Пополя, оба они отправились в путешествие и, по-моему, мы их еще не скоро увидим. Может, о них уже и говорить не стоило. Она задумалась — она всегда держалась со мной настороже — и ласково прошептала:

— В конечном счете, может, это не так уж плохо. Есть детство, которое нужно покинуть, есть детство, от которого нужно излечиться.

Я сказал ей, что психология не по моей части: я держу бакалейную лавку.

— Я бы хотела как-нибудь пригласить тебя к нам на ужин, Мохаммед. Мой муж очень хотел бы с тобой познакомиться.

— А чем он занимается?

— Он преподает английский.

— А вы?

— Я преподаю испанский.

— А на каком языке мы будем говорить за едой? Да ладно, я пошутил, я согласен.

Она порозовела от удовольствия, что я согласился. Да нет, правда, на нее было приятно посмотреть: можно подумать, что я ее облагодетельствовал.

— Так это правда? Ты придешь?

— Ага.

Конечно, странновато видеть, как два служащих Министерства образования принимают у себя бакалейщика Мохаммеда, но, в конце концов, почему бы и нет? Я не расист.

И вот теперь… так и повелось. По понедельникам я хожу к ним в гости с женой и детьми. Малыши такие ласковые, они называют преподавателя испанского бабушкой; надо видеть, как ей это нравится! Иногда она так довольна, что робко спрашивает меня: может, мне это неприятно? Я говорю, что нет, ведь у меня есть чувство юмора.

Вот теперь я Момо — тот, что держит бакалейную лавку на Голубой улице. На Голубой улице, которая вовсе и не голубая.

Для всех я — местный Араб.

В бакалейном деле Араб — это значит: открыто и по ночам и даже по воскресеньям.